

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  
**ВАРЛАМОВ**

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



КЛАССИКА РУССКОЙ  
ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ

---

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  
«НИКЕЯ»

Классика русской духовной прозы

Алексей Варламов

**Повести и рассказы**

«Никея»

2015

УДК 821.161.1  
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)6

**Варламов А. Н.**

Повести и рассказы / А. Н. Варламов — «Никея»,  
2015 — (Классика русской духовной прозы)

Алексей Варламов – русский писатель, современный классик, литературовед и доктор филологических наук. Являясь автором романов, рассказов, повестей, а также книг биографического жанра, Алексей Варламов стал лауреатом целого ряда литературных премий. Произведения писателя, собранные в этой книге, представляют собой лучшие образцы русской реалистической художественной прозы – глубокой и искренней прозы «с традицией».

УДК 821.161.1  
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)6

© Варламов А. Н., 2015  
© Никея, 2015

## Содержание

Предисловие	5
Здравствуй, князь!	6
I	6
II	9
III	12
IV	14
V	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

# **Алексей Николаевич Варламов**

## **Повести и рассказы**

### **Предисловие**

#### **Современный классик русского рассказа**

Алексей Варламов – русский писатель, современный классик, литературовед и доктор филологических наук. Он родился 23 июня 1963 года в Москве. Его отец работал цензором в газете «Правда», а мать – учительницей русского языка и литературы. Учился будущий писатель в английской спецшколе, затем поступил в МГУ на филологический факультет, где теперь преподает, а кроме этого – ведет творческий семинар в Литературном институте им. А. М. Горького.

Дебютная книга Алексея Варламова – сборник рассказов «Дом в Остожье» была опубликована в 1990 году и сразу обратила на себя внимание читателей и критики. В ней писатель обратился к классическому жанру русского реалистического рассказа – на новой сюжетной почве. Сам Алексей Варламов называет себя писателем с «рассказовым дыханием», которое наполняет повести «Здравствуй, князь!», «Рождение», «Дом в деревне», однако и жанр романа занимает в его творчестве важное место. Первыми романами писателя стали «Лох», «Затонувший ковчег» и «Купол», составившие трилогию о русской жизни 1990-х годов. В 2000-м году он публикует очень личный, автобиографический роман «Купавна», а в 2003-м выходит остросюжетный роман «Одиннадцатое сентября».

В настоящий момент Алексей Варламов является постоянным автором известной серии «Жизнь замечательных людей». Переход от художественной прозы к биографической он объясняет появившейся у него потребностью «опереться на факты» в своем творчестве. Из-под пера Алексея Варламова вышли биографии Михаила Пришвина, Александра Грина, Алексея Николаевича Толстого, Михаила Булгакова, Андрея Платонова. Сам он не проводит четкой границы между биографической и художественной литературой, называя свои книги художественным повествованием на документальной основе.

Алексей Варламов является членом Российского союза писателей. Его произведения были удостоены ряда литературных премий. В 2006 году ему была вручена премия Александра Солженицына «за тонкое отслеживание в художественной прозе силы и хрупкости человеческой души, ее судьбы в современном мире; за осмысление путей русской литературы XX века в жанре писательских биографий».

Рассказы и повести Алексея Варламова, собранные в этой книге, представляют собой лучшие образцы русской художественной прозы – глубокой и искренней прозы «с традицией», написанной легким и точным языком русского реализма.

*Оксана Шевченко*

## Здравствуй, князь!

### Повесть

#### I

Свое редкое имя Саввушка получил по причудливому замыслу судьбы. Его мать жила в молодости в Белозерске и работала поварихой в школьной столовой. Была она столь же хороша собой, сколь и доверчива, к ней сваталось много парней, но замуж она не выходила, а потом вдруг уехала, не сказав никому ни слова, в Заполярье. Полгода спустя у нее родился сын. Чуть окрепнув, она снова встала к плите, но работать теперь пришлось больше прежнего, и несколько лет спустя никто бы не узнал красавицу Тасю в изможденной женщине, тяжело бредущей в глухую полярную ночь к дому.

– Уезжайте отсюда, мамаша, – говорили врачи, – климат тут неподходящий.

– Для ребеночка? – пугалась она.

– Да нет, для вас.

Она тотчас успокаивалась, потому как давно на себя рукой махнула, а Саввушка, слава Богу, рос здоровым и про отца своего ничего не спрашивал, точно с детства решив, что отца ему не положено.

Тася же его иногда вспоминала, вернее, не вспоминала, но снился он ей бесконечными ночами, когда сон тяжек и непробуден, снилось лето в окруженном земляными валами городе на берегу огромного озера, снились церкви, вблизи потрескавшиеся, но издали прекрасные, и высокий красивый мальчик ласково спрашивал ее в этих снах:

– Что же ты меня не нашла?

От слов его становилось ей так покойно и счастливо, что она просыпалась в слезах и тихо плакала, боясь разбудить сына:

– Тёмушка, – шептала, – Тёма.

Но Саввушка, едва заслышав материнский плач, просыпался, первое время пугался и плакал, а потом привык, молча лежал и ждал, пока мать снова заснет. Бог знает, что он чувствовал в эту минуту, но, когда позднее она попыталась про этого Тёму ему рассказать, слушать ее он не захотел. Так и осталась Тася со своими воспоминаниями одна.

А был сей неведомый Тёма московским студентом. В Белозерске оказался он на практике. Их привез туда статный белобородый старик по фамилии Барятин, поразивший Тасю в первый же день тем, что после обеда он подошел к ней и поцеловал ручку.

Студентов поселили на окраине городка в пустовавшей летом школе, и целыми днями они ходили за своим профессором от церкви к церкви: десяток девиц, одетых по столичной моде в вольные сарафаны, и один-единственный хлопчик с длинными, как у барышни, ресницами. Белозерская молодежь, ослепленная этим зрелищем и возмущенная тем, что все богатство принадлежит одному студенту, предприняла через несколько дней штурм школы. Девы жили на втором этаже, и парни пролезли на первый, а потом стали ломиться в дверь, за которой стоял студент и сжимал дрожащими руками лопату.

Дверь не поддавалась, ходила ходуном, и нежные девичьи голоса шепотом умоляли:

– Тише, мальчики, тише. Графа разбудите.

Но подвыпившие мальчики вошли в раж. Сквозь замочную скважину виднелись халаты и распущенные волосы, наконец дверь рухнула, и парни ломанулись в проем, как победившие пролетарии в институт благородных девиц. Студента отшвырнули, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в ту же минуту в конце коридора в белой ночной рубашке, закрывавшей

ему колени, с перекошенной волнистой бородой и шваброй в руках не появился бы сиятельный граф Барятин.

– Вон отсюда! – рявкнул он громовым голосом, и осаждавшие бросились врассыпную, а несчастный студизус так и остался посреди коридора с разбитой губой и синяком под левым глазом.

– Это кто ж вас так? – ахнула Тася на следующий день.

Он буркнул что-то нелюбезное, но Тася его с того раза заприметила и всякий раз старалась положить ему кусочек получше. Студент был худ, бледен и напоминал хоть и породистого, но весьма оголодавшего пса. К тому же одет он был необыкновенно неряшливо.

– Что же это за вами и не приглядит-то никто?

– А некому, – ухмыльнулся он.

– Так уж и некому. Вон барышень-то сколько. Она с завистью смотрела на этих беспечных девиц и украдкой вздыхала, потому что сама когда-то мечтала в институте учиться, и учительница школьная ей советовала: поезжай, тебе надо учиться. Но из деревни как уедешь? А когда стали давать паспорта, уж все позабыла и застенялась ехать позориться. И вышло все совсем не так, как в любимой в детстве сказке, – стала Тася обыкновенной поварихой.

Но Тёма ей тогда в душу запал, ждала она, что он с ней первый заговорит, но он то ли стеснялся, то ли внимания не обращал, и она первая спросила:

– А что это вы тут у нас все ходите, смотрите? Спросила и осеклась: что он еще подумает, куда ты, дура, в науку лезешь? Поставили тебя щи варить, вот и вари, а дальше не твоего ума дело. Но студентик оживился и принялся рассказывать ей про древность, про раскол, про отцов преподобных и старцев.

– Вас бы с бабушкой моей познакомить, – вздохнула Тася, – она дак много таких бухтин знает.

– А не скучно вам тут одной? – спросил он вдруг, о чем-то задумавшись.

– Скучно, – ответила Тася и поглядела в его глаза, блестящие за ресницами.

– Вы приходите к нам, – пробормотал он смущенно, – граф вечерами истории разные рассказывает – заслушаешься.

Тася представила профессора в окружении бойких девиц, мотнула головой и, с сожалением улыбнувшись, так просто, чтоб не обидеть его отказом, сказала:

– Уж лучше вы к нам приходите.

– Я приду, – сказал он очень серьезно, – а когда?

Она покраснела, мигом вообразила, как это будет выглядеть, как надо будет сказать соседкам по комнате, чтобы те ушли, а они начнут допытываться что да как, и если и уйдут, то через пять минут станут заглядывать и просить иголку или утюг, пялиться на необычного гостя и хихикать, а завтра об этом узнает все общество, – все это пронеслось в одну секунду в ее голове, и она весьма светски молвила:

– Может быть, погуляем лучше?

– Давай, – неожиданно обрадовался он.

В первый раз они гуляли довольно чопорно. Тася увела своего кавалера подальше от общества на берег озера, где он с важностью, подражая учителю, рассказывал ей про древние валы и нестяжателей. Голос у него дрожал, Тася слушала рассеянно и помалкивала, а сердце, как в детстве, шептало: князь, князь! И плакать хотелось от счастья и от несчастья, прямо здесь разреветься дурище, но он и не догадывался о ее терзаниях, а все называл какие-то чудные имена, каких и в деревне-то она никогда не слышала: Зосима, Савватий, Нил, Ферапонт, красивые, торжественные имена. Тогда и подумала она, что если когда-нибудь у нее родится сын, то назовет его таким именем. Потому что имя ведь не просто человеку дается – оно его охраняет, вырастет он умным, добрым, жизнь у него будет ладная да счастливая.

Вот они женские мысли: он еще ни сном ни духом не ведающий, а она уже все решила и даже имя придумала. И ведь не совестно – сладко было, пусть князь тешится, уж она-то потом натешится с сыном княжеским, исцелует его ручки-ножки, всего исцелует в жутком городе, где не то что церкви – деревья зеленого и света белого не увидишь.

Прогуляли они до утра, пока солнце на три березы не поднялось, и пошли спать: он до полудня, а она прилечь на пару часов и оттуда в жаркую кухню. Но весь следующий день, хоть и не выпалась, светила так, что даже Барятин, на нее взглянув, подивился:

– Чтой-то вы, Настасья свет Васильевна, прекрасны нынче, как лебедь белая?

Тася покраснела маковым цветом, а профессор, что ни говори, лет десять назад редко какая женщина перед ним устояла бы, только головой покачал и отошел.

На Тёму косились несолоно хлебнувшие белозерские парни – такого нахальства мало кто от него ожидал, на повариху – озадаченные еще более курсистки. Сколько ни колдовали они над единственным своим мужичком, он так недотрогой и оставался, одни у него книжки на уме, а тут – простая девчонка, повариха, им нос утерла! Но тем двоим не было ни до кого дела. И лето в тот год подгадало – мягкое выдалось, теплое, бродили они белыми ночами вдоль озера, и Тася сама его привлекла, женским сердцем угадав, что никого у него еще не было.

Да и сама будто в первый раз пошла. Только недолго их счастье длилось. Через неделю надо было ему уезжать, но эту неделю нагулялись, нацеловались они вволюшку, так что на всю жизнь ей хватило. Никого к себе Тася больше не подпустила.

С тех пор снился ей этот сон томительный, когда за окном вьюжная ночь или день, все одно тьма, горечь во рту и его укор:

– Что же ты мне ничего не написала?

А что бы она ему написала? Бросай, милый, все и приезжай? Или меня к себе бери? Нет уж, у него своя дорожка в жизни, а у нее своя. Ему уму-разуму в университетах набираться, а ей до скончания века у плиты стоять. Пересеклись их пути однажды и разошлись. Но ребеночка, плод той любви, уничтожить – на это у нее рука никогда бы не поднялась, хотя поначалу и страшно было, как еще в общежитии посмотрят.

Однако смотреть на Тасю долго никто не стал. Как только живот чуть наметился, а глаза у коменданта зоркие по этой части были, выселили в два счета. Возвращаться домой Тася не захотела и, скрыв, что беременна, а то бы не взяли, завербовалась в ту же осень в Воркуту, где обещали дать жилье и работу.



## II

От отца Саввушка унаследовал потрясающей длины мохнатые ресницы, страсть к познанию и способность схватывать все на лету, а от матери – широкую крестьянскую кость и изумительное простодушие. В три года он выучился читать по складам, в четыре с половиной писать, знал наизусть кучу сказок и стихов и до слез доводил мать, когда звонко декламировал:

В синем небе звезды блещут,  
В синем море волны хлещут;  
Туча по небу идет,  
Бочка по морю плывет.  
Словно горькая вдовица,  
Плачет, бьется в ней царица;  
И растет ребенок там  
Не по дням, а по часам.

Однако дальше он пошел в обычную воркутинскую школу, и по этой причине вундеркинда из него не получилось. Оттого, что учиться было слишком легко, учиться ему быстро надоело, и все свое отрочество Саввушка проболтался на улице, возвращаясь домой с синяками и ссадинами, угрюмый как волчонок. Матери он ничего не рассказывал, вечерами запирался у себя в комнате, меланхолично тренькал на гитаре и что-то писал в толстой тетради неразборчивым почерком.

Тасе же сын был единственным светом в окошке. Иной раз прежде чем его побудить, она присаживалась возле кровати и только головой качала: кого она родила и что из этого чуда выйдет? А Саввушка и сам себя понять не мог.

Он жил наполовину в обыденном мире, а наполовину в каких-то фантазиях и грезах, душа его томилась и примирить два этих мира не могла. Он был отмечен той вечной, одновременно пагубной и спасительной для русского человека тягой к справедливости, из-за которой тот не помнит ни себя, ни близких людей, а идет до конца, лишь бы не пострадала справедливость.

Поначалу это проявлялось в том, что он совал свой нос, куда просят и не просят, лез во всевозможные драки и пытался рассудить враждующих, но вскоре жажда защитить всех сирых и убогих охватила в его сознании целый мир. Тринадцатилетний подросток, он физически страдал и плакал от того, что на другом конце света сажают в тюрьмы и убивают революционеров.

Бог знает, отчего русских мальчиков так волнуют именно революционеры и непременно чужестранные, но у себя в комнате, где все нормальные подростки вешали фотографии Михаила Боярского или Олега Блохина, Саввушка повесил портрет справедливейшего на земле человека – бородатого красавца Че Гевары, сложившего буйную голову в боливийской сельве. Он любил его как отца и, думая о своем будущем, рисовавшемся ему туманно, но ярко, мечтал перенестись каким-нибудь чудесным образом в далекую страну, где умирали за свободу и справедливость лучшие люди на земле, и довершить вместе с ними то, чего не успел сделать не понятый тамошними мужиками героический партизан.

Воркутинская жизнь, где общество свободы и справедливости, как и повсюду в родной стране, было давно построено, наводила на него тоску. Саввушка жаждал борьбы, побегов из тюрем и перестрелок, он представлял себе в минуту наивысшего упоения, как его убьют в том месте и в ту минуту, когда на земле исчезнет последняя капля зла – пусть даже никто об этом

не узнает и осчастливленное человечество не поставит ему памятника. Да и к чему жить, если не с кем будет бороться?

Свои сокровенные мечты он, однако, таил ото всех и, лишь однажды прослышав, что в Москве при одном секретном учреждении имеется специальная школа, которая готовит революционеров-интернационалистов, написал туда письмо с просьбой его зачислить. Сие учреждение получало, вероятно, немало подобных писем и оставляло их без ответа, но то ли все авторы так или иначе брались на заметку, то ли Саввушкино послание было составлено чересчур проникновенно, некоторое время спустя этому посланию было суждено сыграть свою роль в его судьбе.

А в остальном он был славным и добродушным малым, хоть все и почитали его немного чудаковатым.

Когда же минуло Савве пятнадцать лет, он вдруг обнаружил, что его сердце также способно страдать оттого, что приглянувшаяся ему хорошенькая, но весьма стервозная девица строит глазки не одному ему, но еще и доброй половине класса, и это мучает его больше, чем боль за все угнетенное человечество. То, что другие воспринимали как ничего не значащую мелочь и быстро утешались, он пережить не мог и однажды до смерти напугал мать, представ перед ней с перевязанными запястьями и синим лицом.

Тася чуть ли не на коленях вымолила у него обещание ни при каких обстоятельствах ничего подобного больше не делать, и, впервые в жизни тронутый истинным и близким страданием, Саввушка пообещал.

От несчастной любви его вылечили книги. Он читал запоем все подряд, что имелось в скудной городской библиотеке – разрозненные тома Бальзака, Тургенева и Лескова. Он любил романы, чем длинней они были, тем больше, переживал судьбы далеких, давно отживших свое героев еще острее, чем собственную судьбу. Грань между реальностью и сном, временем и пространством становилась в его сознании зыбкой, он пробовал сочинять что-то сам, но скоро убедился, что читать чужое интереснее, чем свое. Его голова была полна самых невообразимых и фантастических прожектов, один другого нелепей и несбыточней, и к той поре, когда надо было решать, что же все-таки делать в этой жизни дальше, Саввушка огорошил мать, объявив ей о своем желании ехать учиться в Москву, в университет.

Для Таси это было ударом. Она, разумеется, не рассчитывала, что сын всю жизнь просидит подле нее, но представить, что разлука произойдет так скоро и так надолго, – это было выше ее сил. Она на все лады пробовала его уговорить отступить от этого безумного желания, но на сей раз Савва и слышать не захотел никаких возражений и увещаний.

Москва, высотное здание со шпилем и звездой – вот единственное место, где он будет учиться. Из многочисленных же факультетов означенного заведения он выбрал факультет словесности, поскольку приязнь к литературе стала в нем страстью и ей он желал посвятить жизнь.

Бедная мать была вынуждена смириться и не спать ночами, ломая голову, как помочь сыну – проблема всех родителей, чьи чада куда-то поступают. Но что могла сделать повариха из воркутинского кафе «Огни Заполярья»?

Тася имела весьма слабое представление об университете. Однако будучи, а точнее, к сорока годам превратившись в рассудочную женщину, хорошо понимала: хоть и писал когда-то самый человечный человек, будто бы кухарки должны управлять государством (фраза, которую так любили повторять, хорошенько пообедав в «Огнях», заезжие лекторы из общества «Знание»), университеты все же существуют не для кухаркиных детей.

Но, видно, заговорила в сыне папина кровь, и в самый раз теперь было бы этого папашу разыскать и сказать: «На, Тёмушка, любуйся, какого я тебе парня вырастила. Уж как мы жили, сказывать не буду, ты только помоги ему теперь. Твой черед пришел». И все-таки, хорошенько подумав, Тася от этой мысли отказалась. Даже если бы и удалось ей каким-то образом разыскать Тёму, неизвестно еще, захотел ли б он этого мальчика признать. Да и как отнесется к

этому сам Саввушка – если из-за какой-то шлюшки готов он вены себе резать? Нет, верно, не суждено им встретиться, пусть все идет как идет, а Бог даст им свидеться, то пусть Тёмушке сердце шепнет – узнает он его и так.

Она лишь посоветовала сыну разыскать в университете профессора Барятина, ибо сердце доброй женщины подсказывало, что скорее забыл ее сладкий Тёма, но только не высокий, статный граф, целовавший некогда ручку белозерской поварихе. Ведь не за одни только вкусные обеды целовал – уж это Тася чувствовала наверняка.

### III

Всякий намек на какую-либо помощь Савва отверг с присущей ему решительностью. Пусть другие ищут в жизни обходных путей, а он будет штурмовать ее в лоб. Он напорист, удачлив, умен, он именно таков, как и нужно в Москве. Разумеется, его там ждут не дождутся и, как только он появится, усадят на самое почетное место. И где ж было ему, бедолаге, знать, что видала Первопрестольная смельчаков похлеще да ломала их, как капризная барыня.

Он поехал, и этот город, где никогда прежде он не был, но о котором знал не меньше, чем его обитатели, из книг, порастил его. Здесь не было ничего похожего ни на «Чистый понедельник», ни на «Мастера», ни даже на модного в ту пору «Альтиста Данилова». По обеим сторонам широких улиц высились прижатые друг к другу угрюмые дома, мимо проносились бесчисленные автомобили, автобусы, троллейбусы – все звенело, шумело, извергало облака дыма и выхлопных газов. Всюду были толпы людей, невероятно торопливые и праздные одновременно. Непонятно было, что делают эти люди, работают ли они когда-нибудь, что их гонит и какова цель их постоянного движения.

Саввушка бродил растерянный, оглушенный, как потерявшая внезапно чутье собака. Все дразнило и раздражало его: девушки в коротких юбках, толстые нахальные бабы, стремительные мужички с газетами. Ему казалось, что все презирают его за нелепый провинциальный костюм и смешной портфель в руках. Было жарко, насыщенный испарениями дрожал и тек над троллейбусами знойный воздух, и Саввушка с трудом удерживался от того, чтобы в ту же минуту не броситься домой, навсегда забыв про этот страшный безликий город. Однако он пересилил это малодушное желание и направился к Воробьевым горам, туда, где в далекой дымке виднелось на высоком берегу Москвы-реки здание со шпилем и звездой.

В ту же минуту, приблизившись к нему, Саввушка забыл обо всем и, восхищенный, замер. Это было именно то, чем он грезил. Темно-зеленые ели, пруды, фонтаны, люди с какими-то необыкновенно одухотворенными лицами и посреди всего – устремленное ввысь, похожее на пирамиду, готический замок и храм, строение. Факультет словесности располагался однако не в этом, вблизи еще более великолепном строении, а по соседству, в сверкающем на солнце стеклянном параллелепипеде. Некоторое время юноша медлил, а потом вошел внутрь.

Поток абитуриентов уже схлынул, и в пустых аудиториях сидели принимавшие документы студентки. Одна из них взяла его аттестат, пробежала глазами, что-то хмыкнула и принялась объяснять про консультации и общежитие, но он слушал невнимательно – сердце так и билось в Саввушкиной груди и стучала в висках кровь.

– Послушайте, – сказала она насмешливо, – вы, кажется, ничего не поняли.

Саввушка поднял голову. На него смотрели с сочувствием и некоторой жалостью прекрасные серые глаза. Казалось, взгляд их говорил: «Ну куда же ты, дурачок?»

– ...моего совета, – донеслось до него снова из марева, – не теряй времени. Как пару схлопочешь или даже тройку, забирай документы и в пед. Там попроще, особенно мальчикам.

– Нет, – ответил он твердо. – Я только сюда поступать буду.

– Ну как знаешь. Ни пуха.

– Спасибо.

– Эх ты, – засмеялась она, – даже этого не знаешь. К черту посылать надо.

– Простите, девушка, – сказал Савва, задетый ее снисходительным тоном, – а вам случайно ничего не говорит такая фамилия – Барятин?

– Говорит, – ответила она осторожно, и выражение ее лица изменилось. – А что?

– Да нет, ничего, – ответил он неопределенно, – я просто знаю его немного.

– В таком случае я бы посоветовала тебе об этом помалкивать.

– Почему? – спросил он обескураженно.

– Потому что профессор Барятин – это не тот человек, знакомство с которым тебе чем-то поможет. Скорее наоборот. К тому же он здесь давно не работает.

– Да я и не собирался ничего, – пробормотал Саввушка. – А как вас зовут?

– Вот поступишь, тогда и узнаешь. – Она снова засмеялась, и что-то очень милое промелькнуло в ее глазах.

Смутное предчувствие сжало Саввушкино сердце. Он в беспокойстве вышел на улицу и побрел наугад через парк. Теперь величавое здание университета вызывало у него не восхищение, а угнетало своей громадой, и он шел все дальше и дальше от него в сторону реки. Мысли его были путанны и печальны, он сам не мог понять, что с ним происходит и что именно так сильно на него подействовало, как вдруг парк оборвался и он увидел с высоты Воробьевых гор весь город, днем почти его раздавивший.

Падающее солнце отражалось в далеких кварталах за рекой, подсвечивало купола Новодевичьего монастыря, высотные здания, трубы, мосты и, сколько было видно глазу, до самого горизонта дома, дома, похожие отсюда на розовые и белые кубики, украшенные бисеринками стекла. Мимо шуршали, уносясь в сторону чудных особнячков за высокими желтыми заборами, ЗИЛы и «чайки», проехала запоздалая свадьба, обнимались вольные парочки, улыбались прекраснотубые иностранные туристы, фотографировали друг друга на фоне азиатской для них столицы и опять залезали в свои яркие автобусы под взглядами неброско одетых мужчин.

Саввушка глядел на все это с жадностью своих молодых и сильных семнадцати лет, не отрываясь и не трогаясь с места, как зачарованный, покуда в городе не зажглись огни и он засветился во мгле как в чаше. Чудная дрожь пробежала по Саввушкиному телу. Душу охватило волнение, и он почувствовал невыносимо острое желание, более сильное, чем все его прежние мечты о далеких странах, победить этот город, заставить его признать себя и впустить как равного.

Но для этого требовалось сдать экзамены, опередив неизмеримо лучше, чем он, подготовленных, натасканных репетиторами и подстрахованных нужными связями абитуриентов, которых и без того наплывало в тот год больше обычного.

Это ему почти удалось. Он блестяще сдал три первых экзамена, но на последнем, по языку, ему поставили тройку за дурной прононс, и до проходного балла он не дотянул, точь-в-точь как Иванушка-дурачок на Коньке-горбунке до заветного окошка, где сидела сероглазая царевна из приемной комиссии. Но ни второй, ни третьей попытки у него не было.

В тот же вечер он с горя надрался вместе с соседями по комнате. Им тоже ничего не светило, но они и не огорчались. Это были веселые, беззаботные люди, приезжавшие сдавать экзамены не для того, чтобы поступить, а чтобы месяц пожить в свое удовольствие в Москве и погулять с абитуриентками. Они проделывали это не первый год, хорошо знали друг друга и наперебой утешали удрученного, наивного воркутинца:

– Сюда все равно просто так поступить нельзя. Или папа у тебя министр, или тыщу за каждый экзамен плати.

Но Саввушка их не слушал: насчет взяток он не верил, это был все-таки университет, а что касается папы, как известно, это обстоятельство он игнорировал.

Его молодому самолюбию был нанесен, однако, сокрушительный удар, оправиться от которого он был не в силах. Было слишком очевидно, что эту последнюю тройку ему именно для того и поставили, чтобы он не поступил. Но за что? Что сделал он дурного той женщине? Мир явил ему несправедливость во всем своем безобразии, к тому же в том месте, где меньше всего он был готов эту несправедливость увидеть, и смириться с этим Саввушкина душа не могла.

Был поздний августовский вечер, за окном общаги горели огни непобежденного города, которому было, оказывается, все равно, останется в нем мальчик из Заполярья с редкостным именем Савватий или уедет, честно это или нет – кому какое дело? Пора было собирать вещи.

## IV

А в этот самый час Артем Михайлович Смородин сидел в своем кабинете на двенадцатом этаже большого стеклянного здания, смотревшего фасадом на город и торцом на цирк. Это здание было спроектировано и построено как гостиница, но потом с гостиницей решили повременить и вместо нее открыли учебный корпус. В ресторане разместили библиотеку, номера переделали под аудитории, поделив их перегородками, но сколько постоялый двор ни перекраивай, двором он и останется, и само собой это скверное здание гуманитарных факультетов, в просторечии именуемое гумном, ни в какое сравнение не могло идти с тем подлинным университетом на Моховой, где когда-то учился Тёма.

Прямо под корпусом проходил тоннель метро, и Артема Михайловича вечно раздражало позвякивание стекол в книжном шкафу. Нет, решительно все было не то – ни стены, ни дух, ни люди. Все измельчало и выродилось, ушли или были изгнаны люди, являвшие собой гордость просторных аудиторий старого здания, и Тёме было безумно этого жаль. А больше всего он жалел, что среди изгнанников оказался его учитель, и происшедшая между ними двадцать лет назад размолвка о сю пору тяжелым камнем лежала на Тёмином сердце.

Граф, граф, из породы динозавров ученый муж, каких еще в те времена было по пальцам перечесть. Отвернулся учитель от самого одаренного своего ученика, и кто теперь разберет, почему так вышло. Ведь не виноват же был Тёма, что не захотел следовать обычной дорожкой барятинских учеников, работавших кто в провинциальных музеях и библиотеках, а кто и просто в школах, но у кого поднимется рука его в этом упрекнуть и не сам ли профессор тому виной?

Да, на его лекциях по древнерусской словесности стояли в проходах, каждое его слово записывалось на магнитофон, ему аплодировали и дарили цветы, его советы ценились и по ним одним можно было написать диссертацию, что многие и делали. Однако на факультете Барятина не любили, не прощали ему независимости и ума, и, хотя открыто выступать против него никто не решался, отыгрывались, как это водится, на учениках.

Так получалось, что они годами не могли защититься, найти приличную работу, издать книгу или статью – всякий раз находились обстоятельства, тому препятствующие, а Барятин палец о палец не ударял, чтобы помочь. Он был, похоже, даже рад, что к нему идут немногие, но самые бескорыстные, кому был дорог высокий дух науки и кто ради этого был готов терпеть любые лишения. Из таких людей и состоял знаменитый семинар профессора Барятина, там провел свои лучшие годы Тёма Смородин, влюбленный в учителя и безмерно счастливый тем, что учитель видит и ценит его любовь и выделяет среди других.

Но страшная мысль, что пройдут еще три года, два, год, все кончится, его отправят в захолустный город Н. спиваться на должности младшего научного сотрудника энского краеведческого музея без какой-либо надежды оттуда выбраться, не давала Тёме покоя. Ведь не для этого же в самом деле он учился в университете. За спиной у Тёмы никого не было, он всего добивался в жизни сам, без чьей-либо помощи поступил и теперь сам был намерен обустроить свою судьбу. А потому, когда год спустя после того белозерского лета Тёме предложили вступить в партию – предложили, он не просил! – Тёма согласился, и с того момента, или так просто совпало, этого Артем Михайлович не знал и по сей день, – в его отношениях с Барятиным что-то разладилось.

Граф, никогда ни во что не вмешивавшийся, подчеркнуто лояльный и ко всем доброжелательный, всей душой уходящий в прежнюю жизнь, живущий как барин в громадной квартире на Пречистенке и посещавший каждое воскресенье храм Ильи Обыденного, никого никогда не осуждавший, за что злые языки и горячие головы звали его страусом, вовсе даже не диссидентствующий и не инакомыслящий, благородный граф, который всем все прощал, на экзаменах

ниже четверки не ставил, разрешал списывать и за любой ответ говорил «спасибо», но так, что люди уходили от него пристыженные или просветленные – этот самый человек Тёму осудил. Не за то, что он в партию вступил, казалось, Барятин слова-то такого не знал, а за то, обронил он сухо, что вы, оказывается, способны поступить не по совести.

Не по совести? Тогда впервые в Тёминой душе поднялась настоящая злость и обида. Он мог бы много на это «не по совести» возразить. Сказать, хорошо вам, ваше сиятельство, быть независимым с вашими регалиями, с вашей биографией и связями в научном мире, с вашим происхождением наконец. Хорошо вам вести себя как вздумается, ручки дамам целовать, с Пасхой всех поздравлять, вы полжизни за границей прожили и теперь живете в любезном Отечестве нашем навроде иностранца: что другим нельзя, то вам можно.

А мы-то как? Вы ведь не пойдете за меня просить, если что случится, хоть и знаете, как они поступают с теми, кто от таких предложений отказывается. Вы, Алексей Константинович, изобразите на вашем лице глубокое сожаление и в утешение скажете что-нибудь душеспасительное о смирении, о пользе жизненного опыта и о прочих добродетелях. Вы найдете что сказать. А то, что нас, как щенков, отсюда выкидывают и всем плевать, как мы после этого храма, после альма-матехи перебиваемся, а вы разве что раз в полгода в барские хоромы на чай к себе позовете и о народном образовании порассуждаете – этого вы знать не хотите!

Но Тёма смолчал. Он умел быть сдержанным, когда нужно, и это молчание, похоже, не понравилось Барятину еще больше. Однако на защите старик повел себя, по обыкновению, в высшей степени благородно и аттестовал Тёмин труд с наилучшей стороны. Тёму взяли в аспирантуру, но уже к другому руководителю, знавшему примерно столько же, сколько знал его новый подопечный в начале третьего курса. И как бы счастливо ни складывалась дальше его судьба, он чувствовал необъяснимую досаду при мыслях о Барятине, и в иные минуты чай в пречистенской квартире, от которой он был теперь отлучен, казался ему важнее собственных успехов.

Успехи, слава Богу, были. У Барятина он научился самому главному – работать самостоятельно по источникам, находить и обрабатывать материал – и вскоре с блеском защитился. А в это самое время неуступчивый граф, не то-таки подписавший какое-то письмо, не то, наоборот, отказавшийся подписать, вылетел из университета, хотя сведущие люди уверяли, что не стал бы Барятин ни из-за каких писем уходить – дело тут явно в другом, а письмо только повод. Но так или иначе, курс лекций по древней словесности, который читал профессор много лет, было предложено читать Тёме.

И вот тут послушный, благонадежный Артем Михайлович выкинул фортель. Он отказался. Мало того, он в самой категоричной и недвусмысленной форме заявил, что, конечно, не может согласиться с опрометчивым поступком Барятина, но, во-первых, следует иметь в виду, что Алексей Константинович – человек совершенно иного склада и он имеет право, выстраданное им право, на собственную точку зрения, а во-вторых, и это более важное соображение, такими людьми разбрасываться нельзя, даже если нам они совершенно не нравятся. Так что он, Тёма, против увольнения Барятина и читать его курс не станет.

Это выступление произвело на славившемся покорностью факультете эффект разорвавшейся бомбы. К Артему Михайловичу подходили знакомые и незнакомые люди, восхищались его поступком, жали руку, и из безвестного преподавателя он в одночасье превратился в заметную фигуру. Кое-кто, правда, поговаривал, что с Тёминой стороны – это был просто хорошо продуманный шаг. Понимая, что конкурировать с графом ему будет не под силу, Смородин нашел красивый предлог для отказа. Однако, если и принять во внимание эту малоправдоподобную ввиду безусловного ума и честолюбия Тёмы версию, следовало признать, что слишком опасен был этот предлог и одному Богу известно, какие он мог повлечь за собой последствия.

Последствия оказались таковыми. Барятин, разумеется, не вернули, а молодой ученый неожиданно получил от бывшего учителя записку, в которой тот коротко просил коллегу взять

вышеозначенный курс, но приглашения на очередной и последующие чаепития Тёма так и не получил.

Зато он получил многое другое. Вместо ожидаемых неприятностей Смородин вдруг резко пошел в гору. Его выталкивало наверх, как пробку из воды. Он ездил то на картошку в подшефный колхоз «Ахманово», то на стажировку за границу, там и там пользовался успехом и очень быстро, без проволочек получил доцентскую ставку, которую другие ждали годами.

Некоторое время спустя ему дали возможность уйти в докторантуру, что тоже малообъяснимо было одними Тёмиными способностями. Таким образом к тридцати пяти годам Артем Михайлович стал доктором наук, автором нескольких монографий, но самое поразительное ждало его впереди. Он вернулся на факультет в очень сложное время, когда из-за темных и глубинных интриг пал прежний декан и между различными группировками началась борьба за нового. Однако вместо ожидаемых кандидатов, седовласых мужей – прожженных интриганов от науки, на царствие посадили Тёму.

Что все это значило, понять никто не мог. На Артема Михайловича взирали с недоумением, и, поскольку такое же недоумение выражало и его лицо, факультетские кумушки рассудили, что, верней всего, могучие тузы сошлись на нем как на промежуточной фигуре и основные дела будут твориться за его спиной. Так оно было или не так, но теперь перед новоиспеченным деканом и по совместительству председателем приемной комиссии лежали списки студентов, зачисленных на первый курс. А завтра утром эти списки должны были висеть в вестибюле несостоявшегося отеля к безумной радости двухсот пятидесяти и отчаянной горести нескольких тысяч абитуриентов и их родни.



## V

Если бы Артему Михайловичу показали в эту минуту человека, придумавшего вступительные экзамены, он приказал бы сослать его в «Ахманово» навечно и ни под каким видом оттуда не выпускать. Жаркий, душный месяц, который все порядочные люди проводят и он сам столько лет проводил на море, толпы мамаш, синие от умственных потуг дети – вот чистилище для тех, кто хочет попасть в университет.

Постаревший за три последние недели, как за три года, узнавший враз столько мерзкого, сколько не знал он за всю предыдущую жизнь, декан тупо глядел за окно, слушал, как брякают стекла в такт проходящим поездкам, и страдал.

Причиной его глубокой меланхолии было разочарование в университете и шире – во всей человеческой натуре. Артем Михайлович никогда не питал иллюзий на сей счет. Он хорошо понимал, что человек – существо слабое и не всегда способное противостоять насилию и соблазнам. И если говорить о вступительных экзаменах, то бывают случаи, когда за того или иного абитуриента просят коллеги, родственники, звонят по телефону сверху, и тогда, проверяя сочинения, экзаменаторы берут синие ручки.

Это было печально, ибо нарушало чистоту корпоративного духа, но, по крайней мере, поддавалось объяснению. Однако никогда бы он не поверил, покуда не увидел сам, что солидные люди, читающие вдохновенные лекции о Дон Кихоте или князе Мышкине, способны брать взятки, как если бы работали не в университете, а в отделе по учету и распределению жилплощади. Тёма был искренне и глубоко этим оскорблен. При всем своем практицизме он был в отношении университета идеалистом, он любил его и считал, что университет – это островок, пусть относительной, свободы и независимости духа. Ну хотя бы настолько, насколько в этой стране это вообще возможно. Ведь есть же разница между тем, когда человека принуждают совершить гадость и когда он сам ищет, как бы ее совершить. Он допускал для порядочного человека первое, но исключал второе и теперь почувствовал себя институткой, отданной в бордель.

Возмущаться, протестовать, взывать к совести – все было бесполезно. Все равно были списки тех, кто в любом случае поступит, и тех, кто ни под каким видом поступить не должен, все равно репетиторы принимали экзамены у своих учеников, и это входило в плату за уроки. И Тёма уступил, он закрыл на все глаза, ни во что не вмешивался, будто не был ни деканом, ни председателем приемной комиссии. Он решил, что осенью уйдет в отставку, уйдет в чистую науку и гори все синим пламенем. Слава Богу, у него детей не было и хлопотать ему было не за кого. Однако умыть руки вполне Артему Михайловичу не удалось.

В последний день к нему пришел секретарь комиссии и сказал, что списки составлены не до конца. Оставался так называемый полупроходной балл – этот камень преткновений всех экзаменационных комиссий. Из нескольких десятков человек, не дотянувших полбалла, он должен был отобрать семерых.

– Но почему один я? – возмутился Смородин.

Секретарь пожал плечами и усмехнулся. Все было понятно: никто больше не хотел брать на себя эту ответственность. Кому ты станешь потом доказывать, почему этого взял, а того нет. Тут приходится рвать по живому, одно неверное движение и не то что из деканов, из университета вылетишь. Это тебе не писульку какую-то там подписать. Угораздило же факультет словесности стать пансионом благородных девиц – тут такие интересы сшибаются, такие фамилии мелькают, что оторопь берет. А его, Тёму, бросили, как щенка, и никто ему не объяснит, как быть, чтобы не прослыть ни юдофилом, ни юдофобом, а вернее, понять, что теперь выгоднее, как проявить себя в меру либеральным – все ж университет, а не казарма, – но в то же время строгим и партийным.

Декан с безнадежным унынием глядел на примелькавшиеся фамилии, к семи часам насчет троих наконец позвонили, и, преодолевая отвращение к самому себе, Смородин внес их в заветный список, еще троих он вписал за какие-то необыкновенные характеристики и грамоты. Оставался один, но на этого одного сил решительно не было. Артем Михайлович выжидательно поглядывал на телефон, но никто не звонил, факультет опустел, в коридоре бродила недовольная уборщица, собирая шпаргалки, из открытого окна накатывало прохладными сумерками, сверкал и переливался огнями город за рекой, и усталый взгляд председателя вдруг наткнулся на странное имя – Савватий.

«Из попов, что ли?» – лениво подумал Тёма и взял личное дело. Родился в 1964 году в Воркуте, мать повар, отца нет. Кой черт только занес этого Савватия в Москву и как ухитрился он набрать столько баллов? Или, может быть, у него тетя в Госплане, а дядя в Минвузе? Но нет – тогда позвонили бы. И потом три пятерки и тройка напоследок. Нет, никого тут нет.

Тёма бросил личное дело Савватия в общую кипу и снова погрузился в мысли о низости человеческой натуры. Но что-то словно зацепило его. Отца нет, мать повариха. А что, если взять этого Савватия? Не сравнивать достоинства прочих родителей – все равно на всех не угодишь, а взять вот такого чистенького. И в случае чего сказать: классы у нас пока еще никто не отменял, так что не будем забывать, товарищи, дети кухарок должны укреплять и пропагандировать словесность.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.